

Злата Швейцарская

ТИХАЯ ВОДА

Она уронила ложку.

Звук получился негромкий — алюминий о линолеум, — но в тишине кухни он отозвался коротко и звонко, словно кто-то щёлкнул выключателем. Павел Иванович поднял голову от газеты и посмотрел на жену.

Нина сидела неподвижно, уставившись в свою тарелку с остывшим супом. Рука её всё ещё была протянута вперёд, пальцы разжаты, будто она и не заметила потери. Глаза смотрели сквозь стену, сквозь дом, сквозь этот вторник середины марта — куда-то туда, где её уже не было.

— Нина, — позвал он тихо.

Она не отозвалась.

Павел Иванович отложил газету, с усилием поднялся из-за стола — колено последнюю неделю ныло к дождю, хотя за окном светило бледное солнце, — присел на корточки. Ложка лежала ручкой к холодильнику. Он поднял её, достал из сушилки чистую, положил рядом с Нининой тарелкой. Пальцы жены чуть дрогнули, но она не взяла ложку. Не потому, что не хотела есть. Просто забыла, зачем она здесь и что делать с этим предметом.

— Пойдём, — сказал он, осторожно беря её за локоть. — Пойдём в комнату, отдохнёшь.

Нина послушно встала. Сделала два шага, остановилась, оглянулась на стол.

— Я не доела, — сказала она вдруг ясно и удивлённо. — Ты убираешь, а я не доела.

— Никто не убирает, — он мягко развернул её обратно. — Садись. Я рядом посижу.

Она села, взяла ложку, зачерпнула суп. Рука дрожала мелкой старческой дрожью — половина обратно выплеснулась в тарелку. Павел Иванович смотрел в газету, но не видел букв. Он считал: раз, два, три, четыре... На пятом глотке Нина снова застыла. Ложка зависла в воздухе, суп капал обратно, оставляя на скатерти мутные капли.

Он аккуратно забрал ложку, положил салфетку ей на колени, промокнул скатерть. Всё молча. Молча и привычно, как заправляют кровать или чистят зубы.

Этой зимой исполнилось пятьдесят два года их совместной жизни.

Павел Иванович помнил тот июльский день пятьдесят второго, когда они расписались в районном ЗАГСе. Ей было девятнадцать, ему двадцать три. Она пришла в белом платье, которое шила две недели по ночам, и всё время теребила кружевной воротник — боялась, что оторвётся. Не оторвался. Держится до сих пор. Платье лежит в шкафу, переложенное нафталином, и Нина иногда достаёт его, гладит рукой и снова убирает.

До болезни она была живая, быстрая, говорила громко и часто смеялась. Работала в городской библиотеке, знала наизусть почти всех поэтов Серебряного века, могла часами рассказывать про Блока и Ахматову. Павел Иванович — инженер-конструктор на заводе — мало что понимал в этих женских стихах, но слушал. Ему нравилось, как у Нины загорались глаза, когда она читала вслух:

— «Но если я душой не изменю, — простишь ли ты мне, Господи, измену?..»
Паша, ты слышишь? Какая сила!

Он слышал. Кивал, улыбался и думал, что жизнь удалась.

А потом началось.

Сначала пропали ключи. Потом очки. Потом — имя соседки. Нина сердилась на себя, называла склерозом, пила какие-то таблетки, которые выписал участковый. Таблетки не помогали. Через год она перестала ходить в библиотеку — забывала дорогу. Ещё через два перестала читать: буквы расплывались, складывались в чужие, незнакомые знаки. Она закрывала книгу и долго смотрела в окно.

Врач в поликлинике, молодой, с усталыми глазами, развёл руками:

— Болезнь Альцгеймера, смешанная форма. Прогрессирует. Что делать?
Лекарства поддерживающие, но вы сами понимаете...

Павел Иванович понимал. Ему тогда было семьдесят три. Нине — шестьдесят девять.

Дочь Катя, жившая в Новосибирске, прилетела на выходные, порыдала на кухне, предложила пансионат:

— Пап, это же невозможно. Ты сам скоро ляжешь. Там есть специальные отделения, уход, врачи...

— Нет, — сказал он.

— Но почему?! — Катя всплеснула руками. — Ты не справляешься! Мама тебя не узнаёт!

— Узнаёт, — ответил он. — Просто не сразу.

Катя улетела обратно. Звонит раз в неделю, спрашивает, как дела. Павел Иванович отвечает: нормально. Не жалуется. Жаловаться не на что.

Март тянулся долго, как больная нитка.

Снег за окном то таял, то выпадал снова, белый, липкий, бессмысленный. Павел Иванович вставал в семь, ставил чайник, резал хлеб для тостов. Нина просыпалась позже — с каждым месяцем спала всё дольше, словно организм уходил в спячку, из которой не хотел возвращаться.

Он научился читать её состояние по глазам.

Если утром она смотрела на него спокойно, чуть удивлённо, но без страха — день будет ровным. Можно включить телевизор, перебрать крупу, посидеть у окна. Если же взгляд был пустой, стеклянный, а пальцы мяли край одеяла — это значило, что Нина уже не здесь. Она могла сидеть так час, два, три, не реагируя на голос, на прикосновения, на чай с мёдом. Павел Иванович садился рядом, брал её руку в свои, молчал.

Сын — тоже Павел, Павлик — приезжал раз в месяц из соседнего района. Сын работал дальнобойщиком, видел жизнь грубее и проще отца.

— Пап, ты же мужик, — говорил он, наливая себе чай покрепче. — Пойми: её уже нет. Это оболочка. А ты себя гроишь.

Павел Иванович молчал. Потом говорил:

— Ешь пирожки. Я вчера испёк с капустой.

Сын вздыхал, брал пирожок, откусывал. Жевал, глядя в пол.

— Ладно, твоё дело. Но я бы не смог.

«Ты просто не знаешь, — думал Павел Иванович, закрывая за сыном дверь. — Ты не знаешь, как она держала тебя на руках, когда ты болел коклюшем, три ночи не спала, а утром ушла на смену. Ты не помнишь, как она продала своё обручальное кольцо в девяностые, чтобы купить тебе зимние ботинки. Тебе было пятнадцать, ты сказал — все в „котах“ ходят, а я в валенках. Она молча сняла кольцо и утром принесла коробку. Ты носишь те ботинки до сих пор, они у тебя в прихожей стоят. А ты говоришь — оболочка».

В конце марта случилось то, чего он боялся три года.

Нина вышла из дома.

Он задремал в кресле — всего на полчаса, показалось ему. Проснулся от странной тишины. Не скрипели половицы на кухне, не шуршала ткань, не звенела посуда. Он окликнул — никто не ответил.

Сердце ухнуло вниз, в ледяную воду. Павел Иванович, забыв про больное колено, кинулся к двери. Нинины тапки стояли в прихожей, а зимние сапоги исчезли. Куртки на вешалке не было.

Он выбежал на улицу.

Мартовский ветер ударил в лицо, ледяной, колючий. Павел Иванович оглядел двор — пусто. Кинулся к остановке, потом к магазину, потом к скверу, где они гуляли раньше.

Он увидел её на скамейке у детской площадки.

Она сидела прямо, сложив руки на коленях, и смотрела на качели. Рядом прыгали воробьи, клевали замёрзшую корку. Нина не шевелилась.

— Нина! — он подбежал, задыхаясь, схватил её за плечи. — Ниночка, ты как здесь?

Она подняла на него глаза. В них стояли слёзы.

— Паша, — сказала она тихо. — Я жду Павлика. Он обещал прийти, а его всё нет. Ты не видел Павлика?

Павлу Ивановичу стало холодно не от ветра.

— Нина, — он сел рядом, накрыл её руку своей. — Павлику сорок семь лет. Он в рейсе, в Казани. Ты помнишь?

Она молчала долго. Слезы катились по щекам, падали на воротник куртки, таяли.

— Я забыла, — сказала она наконец. — Я всё забываю, Паша. Я боюсь.

Он обнял её, прижал к себе, чувствуя, как дрожит её худое тело. Раньше она была плотная, крепкая, «кровь с молоком», как говорила свекровь. Теперь кожа да кости.

— Не бойся, — сказал он в седые волосы. — Я помню. Я за двоих помню.

После того случая он понял: больше нельзя оставлять её одну. Даже на полчаса.

Он перестал ходить в магазин — заказывал доставку. Перестал стричься — купил машинку, стригся сам перед зеркалом в ванной, глядя, как сыплются седые волосы на кафель. Перестал звонить старым друзьям — разговаривать было некогда и не о чем.

Друзья, впрочем, звонили всё реже. Сначала соболезновали, потом сочувствовали, потом замолкали. Кому интересен старик с умирающей женой? У всех свои болячки, внуки, дачи. Павел Иванович не обижался.

Он варил супы, гладил бельё, менял постельное, мыл полы. Он научился готовить манную кашу без комочков — Нина любила манную кашу, но комочки ненавидела. Он научился вставлять нитку в иголку без очков. Он научился не плакать по ночам, глядя в потолок и слушая, как дышит во сне жена.

Она дышала тихо, почти беззвучно. Иногда Павел Иванович пугался, наклонялся, проверял — дышит? Дышит. Спит.

В те ночи он вспоминал их молодость.

Как они копили три года на кооперативную квартиру. Как она каждую получку откладывала в шкатулку «на обои». Как потом эти обои выбирали — рулон за рулоном раскладывали на полу, спорили, сердились, мирились. Обои были зелёные, в мелкий цветочек. Они висели в спальне тридцать лет, пока Катя не вышла замуж и не уехала. Потом Павел Иванович переклеил сам — Нина уже не могла стоять на стремянке, у неё кружилась голова.

Новые обои были бежевые, спокойные. Нина сказала: «Красиво». И больше ничего не сказала.

В апреле у Нины случился просвет.

Это было как чудо, каких не бывает, но иногда случается. Она проснулась утром, посмотрела на мужа ясным, осмысленным взглядом и улыбнулась.

— Паша, — сказала она. — А почему ты на диване спишь? У тебя спина заболит.

Он поперхнулся чаем.

— Да так... — закашлялся, замахал рукой. — Привык уже.

Она покачала головой, но спорить не стала. Попросила зеркальце, расческу. Привела себя в порядок, заколола волосы — как раньше, пучком на затылке. Надела любимую кофту, голубую, с перламутровыми пуговицами.

— Слушай, — сказала она. — Давай прогуляемся. Погода-то какая!

Он не поверил своим ушам. Три года она не просилась гулять — только выходила, когда он выводил, как ребёнка. А тут сама.

Они шли по аллее, медленно, под руку. Солнце пробивало молодую листву, на земле плясали зайчики. Нина смотрела по сторонам и улыбалась — удивлённо, благодарно.

— Паша, а помнишь, — сказала она вдруг, — как мы ездили в Ленинград? В семьдесят пятом?

Он помнил. Конечно, он помнил. Путёвка от завода, гостиница на канале Грибоедова, Эрмитаж, разводные мосты. Она всю неделю не могла поверить, что это взаправду.

— Помню, — сказал он. — Ты ещё купила ту книгу. Про художников.

— Репин, — кивнула она. — «Далеко и близко». Всё хотела перечитать, да руки не дошли.

Он промолчал. Книга стояла на полке, он вытирал с неё пыль каждую неделю. Нина давно не брала в руки книги.

Они сели на ту же скамейку, где она сидела в марте. Теперь вокруг было зелено, грачи деловито расхаживали по газону, выискивая червей. Нина смотрела на качели. Качели пустовали — дети были в школе.

— Паш, — сказала она. — Я знаю, что я умираю.

Он вздрогнул, сжал её пальцы.

— Ты что, глупости...

— Не глупости. — Она говорила спокойно, без надрыва, словно о погоде. — Я чувствую. Я таю. Каждое утро просыпаюсь и понимаю: меня меньше, чем вчера. Но я не боюсь.

Он смотрел на её профиль — острый, тонкий, почти прозрачный на весеннем солнце.

— Ты знаешь, чего я боялась всю жизнь? — спросила она. — Я боялась, что умру, а ты останешься один. Что ты не справишься. Катя далеко, Павлик вечно в рейсах... Кто тебе суп сварит? Кто очки протрёт?

— Нина...

— Дай скажу. — Она положила ладонь ему на руку. — Я так боялась, что ты пропадёшь без меня. А теперь смотрю — вон ты какой. И суп варишь, и гладишь, и меня бережешь. Значит, не пропадёшь. Значит, всё правильно.

По его щеке потекла слеза. Он не вытирал.

— Ты только долго не скучай, — сказала Нина. — Ты обещаешь.

Он кивнул. Соврал.

После того дня Нина прожила ещё три недели.

Она угасала тихо, как догорает свеча на сквозняке — не гаснет, но пламя всё ниже, ниже. Почти не вставала. Почти не ела. Павел Иванович сидел рядом, читал ей вслух — не стихи, она уже не понимала стихов. Он читал Чехова, «Степь». Читал медленно, останавливаясь, смотрел, слушает ли.

Она слушала.

Иногда её пальцы шевелились на одеяле, будто гладили кошку. Иногда она открывала глаза и смотрела на него долгим, внимательным взглядом. И улыбалась.

В ночь перед уходом она вдруг отчётливо, сильно сжала его руку.

— Паша, — сказала она внятно. — Я хочу тебе сказать.

— Я здесь, — он наклонился к самым губам.

— Ты не думай, что я не понимала. Я понимала всё. Просто ответить не могла. — Она помолчала, собираясь с силами. — Я тебя очень люблю. Спасибо тебе.

— За что? — прошептал он.

— За то, что не отдал. В пансионат. Я так боялась... что чужой человек... не поймёт...

Она уснула. А утром не проснулась.

Павел Иванович хоронил жену в тихий солнечный день. Дочь прилетела, сын отпросился с рейса. Пришло несколько соседок, две бывшие коллеги Нины из библиотеки. Помянули, поплакали, разошлись.

Вечером он остался один.

Он сидел на кухне, смотрел в тарелку с нетронутым супом и вдруг понял: больше не надо варить суп. Никто его не съест. Никто не попросит чаю. Никто не забудет ложку на столе.

Он встал, подошёл к окну.

Зажигались огни в соседних домах. Кто-то смотрел телевизор, кто-то ужинал, кто-то разговаривал по телефону. Обычная жизнь, обычный вечер.

И вдруг его прорвало.

Он не плакал три года — некогда было, нельзя было. А теперь стоял у окна, сгорбленный старик, и плакал навзрыд, как мальчишка. По той, что ждала его у ЗАГСа в белом платье с кружевным воротником. По той, что продала кольцо ради сына. По той, что не узнавала его по утрам, но всё равно улыбалась, чувствуя родную руку.

По той, которая боялась оставить его одного.

«Не пропадёшь», — сказала она.

Он не пропал. Но часть его ушла вместе с ней.

Через месяц он разбирал её шкаф.

В самом низу, под стопкой выглаженных простыней, лежала старая общая тетрадь в зелёной обложке. Павел Иванович открыл, не надеясь ничего понять — Нина почти не писала в последние годы, пальцы не слушались.

Это был не дневник. Это были заметки, обрывочные, торопливые, сделанные разным почерком — то ровным, то дрожащим.

«15 марта. Сегодня снова забыла, как варить кофе. Паша сказал: ничего, я сварю. Он всегда так говорит. Интересно, знает ли он, как я его люблю? Наверное, знает. Мы ведь пятьдесят лет вместе».

«2 апреля. Смотрела на Пашу и вдруг испугалась — не узнала. Кто этот старик? Почему он называет меня Ниной? Потом вспомнила. Это мой Паша. Он всегда молодой для меня. Всегда».

«17 мая. Сегодня Паша уронил тарелку и долго собирал осколки. Я хотела помочь, но не могла встать. Лежала и думала: Господи, за что ему это? Чем он заслужил такую старость? А потом поняла: он не считает это наказанием. Он считает это любовью».

Последняя запись была сделана за три дня до смерти. Буквы прыгали, строчка уползала вниз.

«Я забыла, как зовут внучку. Забыла название улицы, где мы живём. Забыла, какой сегодня день. Но я помню его руки. Помню, как он впервые поцеловал меня — в парке, под фонарём, шёл дождь. Помню, как он держал Павлика в роддоме и плакал. Помню, как мы сидели на этой кухне, пили чай и молчали — и нам было хорошо. Я всё забыла, а это помню. Значит, это самое главное».

Павел Иванович закрыл тетрадь. Долго сидел неподвижно, глядя в стену.

Потом встал, подошёл к окну. За окном шёл дождь — первый майский ливень, шумный, весёлый, пахнувший мокрой листвой и грозой.

— Ты не бойся, — сказал он тихо. — Я справлюсь. Ты же знаешь. Где-то далеко, в чередѣ уходящих дней, ему почудился её голос: «Знаю».

